

Между Аи и Бордо: Политические взгляды Пушкина

Сергей Давыдов*

Но изменяет пеной шумной
[Аи] желудку моему,
И я Бордо благоразумный
Уж нынче предпочел ему.

Евгений Онегин, IV, 46

Сеять раздор между наследниками — прерогатива великих и богатых умов. Дабы завладеть наследием, потомки апеллируют к статьям завещания и призывают в свидетели «дух предка». Но, как не раз оказывалось, другие претенденты на наследство призывают того же свидетеля и так же искусно толкуют его завещание. Начинается идеологическое «терзание предка».

Политическому наследию Пушкина не удалось избежать подобной судьбы. Так, Писарев, истинный *bête-noire* русской словесности, увидел в Пушкине «версификатора, ... совершенно неспособного анализировать и понимать великие общественные и философские вопросы нашего века». ¹ А современник поэта Мицкевич, напротив, утверждал, что «когда Пушкин говорил о политике внешней и отечественной, можно было думать, что слушаешь человека, заматеревшего в государственных делах и пропитанного ежедневным чтением парламентарных прений». ²

* Сергей Давыдов — профессор литературы в Миддлбэри колледже, шт. Вермонт. Автор книги *Тексты-матрёшки Владимира Набокова* и ряда статей о Пушкине, Набокове, Достоевском и теории литературы.

За два истекших века исследователям удалось представить Пушкина во всех цветах политической радуги. Поэта изображали то фрондером, то неистовым радикалом и бунтарем, то несостоявшимся декабристом, то проповедником квиетизма, то руссоистом, то отступником от идеалов молодости, то приспособленцем и двурушником, то другом империи, то придворным сервилитом, то обиженным царедворцем, то надменным аристократом и, даже *roug la bonne bouche*, разочарованным дворянином, мечтавшим стать мещанином и хлебать из горшка щи.

Картина еще более усложняется из-за понятной осторожности поэта и постоянной оглядки на цензуру, затрудняющих доступ к мыслям поэта, который о себе заявил: «Каков бы ни был мой образ мыслей, политический или религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости» (Жуковскому, 7 марта 1826 г.). Нам будет легче разобраться в политических пристрастиях поэта, если учесть, что его идеалом был своеобразный сплав противоположностей, утопический союз «меча и лиры», «воли и покоя», свободы и империи, либерализма и консерватизма, стихийной вольности и государственности — иными словами, Аи и Бордо, Клико и Лафит.

Я предлагаю спуститься в винный погреб поэта и начать пробу Аи, Бордо, Клико и Лафитов разных годов с конца, со стихотворения «Из Пиндемонти», написанного в последнее лето жизни Пушкина. Дата его написания (5 июля 1836) почти совпадает с десятой годовщиной казни декабристов (13 июля), а само стихотворение во многих отношениях завершает эволюцию политических воззрений Пушкина.

Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль, *слова, слова, слова*.*

... * Hamlet (Прим. Пушкина.)

Начальные строки наводят на мысль о том, что что-то в корне не ладно с «громкими правами», которые поэт так надменно отвергает. Однако, черновой вариант: «При звучных именах Равенства и Свободы / Как будто опьянев, беснуются народы» не оставляет сомнений, что речь идет о самых заветных гражданских идеалах, а не о заслуживающих презрение псевдоправах.

Конечно, было время, когда и Пушкин надевал «демократический халат» и голова его кружилась от звуков и “Liberté” и “Egalité,” особенно, когда их произносил родной брат Марата, рьяный республиканец, Monsieur de Bourdu, преподаватель французского в Лицее, или либеральный Куницын, читавший лекции о естественном праве. В лицейские годы, в период Зеленой лампы, и в Кишиневе Пушкин был либералом в полном смысле этого слова. Его гражданские стихи поощряли революционное брожение времени и не раз служили политическим манифестом тайных обществ, приведших к мятежу 1825 года.

Стихотворение «Вольность» (1817), названное в честь крамольной оды Радищева (1790), казалось, продолжало традицию родоначальника русского радикализма: «Тираны мира! Трепещите!... Восстаньте, падшие рабы!» Тем не менее между этими одами есть одна существенная разница. Пушкин предлагал лишь «На тронах поразить порок», а не сам трон, как сказано у Радищева: «На вече весь течет народ, / Престол чугунный разрушает» (строфа XXII).

Если в «Вольности» Пушкина «вечной стражей трона» был «меч закона» в руках доблестных граждан, то в «Кинжале» (1821) поэт уже размахивает отнюдь не метафорическим оружием: «Свободы тайный страж, карающий кинжал, / Последний судия позора и обиды». Стихотворение «Кинжал» создало Пушкину репутацию неистового радикала. Но подобно оде А. Шенье “A Marie-Anne-Charlotte Corday” (1793),³ стихотворение Пушкина призывало лишь к убийству тирана, а не к цареубийству, а сам кинжал задействован лишь как последняя мера, когда и «боги молчат», и «меч закона дремлет».

В начале 1820-х гг. Пушкин разделял гражданское негодование своих друзей, но сам он не был отъявленным радикалом. А. И. Тургенев называл браваду поэта «площадным вольнодумством»,⁴ а кн. Вяземский выдал Пушкину следующий аттестат:

Многие из тогдашних так-называемых либеральных стихов его были более отголоском того времени, нежели отголоском, исповедью внутренних чувств и убеждений его. Он часто был Эолова арфа либерализма на пиршествах молодежи, и отзывался теми веяниями, теми голосами, которые налетали на него».⁵

Декабрист Пушкин называл пушкинское позерство «болтовней и вздором», но прекрасно понимал, что

...этот вздор, похожий несколько на поддразнивание, переходил из уст в уста и порождал разные толки, имевшие дальнейшее свое развитие; следовательно, и тут даже некоторым образом достигалась цель, которой он несознательно содействовал (1858).⁶

А по словам Александра I, Пушкин к 1820 году «наводнил Россию возмутительными стихами; вся молодежь наизусть их читает».⁷ Император собирался сослать поэта в Сибирь или на Соловки, но отправил лишь в командировку на юг. Несмотря на нескрываемую неприязнь к Александру I, Пушкин отстаивал в своих гражданских стихах проект не чуждый в свое время самому императору — конституционную монархию. Призыв Пушкина к отмене крепостного права «по манию царя» («Деревня», 1819) был восторженно встречен Александром I, который передал поэту: “Remerciez Poushchine des nobles sentiments qui inspirent ses vers”.⁸

Радикально настроенные почитатели поэта могли проглядеть эти тонкости, но однозначно имперская концовка «Кавказского пленника» (1821), в которой автор «Вольности» прославлял покорение свободолюбивых горцев русским оружием, не оставляла сомнений, на чьей стороне были симпатии поэта. Этот крайне неромантический взгляд, выраженный в эпилоге к самой «байронической» поэме Пушкина, смутил даже тех, кого едва ли можно заподозрить в революционных симпатиях. Кн. Вяземский негодовал: «Мне жаль, что Пушкин окровавил последние стихи своей повести... Поэзия не союзница палачей;... гимны поэта не должны быть никогда славословием резни».⁹

Личная преданность Пушкина друзьям-декабристам оставалась всегда безупречной, хотя поэт не раз колебался в своем отношении к их делу. Революции в Испании, Италии и Германии в начале 20-х гг. не привели к падению монархий, и народ предал своих

предводителей: «Народы тишины хотят, И долго их ярем не треснет» (В. Л. Давыдову, 1821). Все это давало мало поводов для революционного оптимизма в России. Уже в одесский период, т.е. за два года до разгрома декабристов, Пушкин подозревал, что восстание — лишь романтическая затея дворян, сомневался в пользе революционной пропаганды и в готовности народа к свободе. Какими далекими от идеалов «Вольности» должны были показаться будущим декабристам стихотворения 1823 года «Демон» или «Сельский свободы»:

К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

Эти строки до сих пор продолжают смущать исследователей либерального толка.¹⁰

1824-25 годы привели Пушкина к политическому распутью. Мятёжный юг, свободная стихия моря и Байрон оставлены позади. В то время как тайные общества готовили вооруженное восстание в столице, Пушкин в далекой глуши, в родовом Михайловском изучает другой, глубоко антиромантический урок истории. Чтение Шекспира и Карамзина приводит к убеждению, что над индивидуальной волей — благородной или низменной — стоит вполне закономерная, а иногда даже справедливая историческая неизбежность. В *Борисе Годунове* смерть детей и узурпаторство представлены как роковой исторический грех. За пролитие крови последнего из Рюриковичей Россию настигает кара в духе трагического мифа. Убиенный царевич в облике самозванца мстит узурпатору точно так, как в *Капитанской дочке* бородатое перевоплощение убитого Петра III — самозванец Пугачев — будет мстить за «свою» смерть вдовствующей узурпаторше Екатерине II. Эта идея просвечивала уже в «Вольности»: трагедия, постигшая французов при самозванце Наполеоне, представлена как достойное древнего мифа возмездие за казнь законного короля. Чтение *Истории* Карамзина убеждает Пушкина, что в сознании народа монархия была и остается основой политической жизни России. В *Борисе Годунове*, наряду с полузаконным царем и романтическим Самозванцем, Пушкина привлекает образ монаха Пимена.

В нем собрал я черты, пленившие меня в наших старых летописях: простодушие, умильная кротость, нечто младенческое и вместе мудрое, усердие, можно сказать набожное, к власти Царя, данной ему Богом... Мне казалось, что сей характер, все вместе, нов и знаком — для русского сердца... (ПСС 11: 68).

Проведя мятежную молодость при дворе Ивана Грозного, благочестивый летописец смотрит на прошлое с тем умудренным спокойствием («Добру и злу внимая равнодушно, / Не ведая ни жалости, ни гнева»), которое пытался обрести и сам Пушкин. Это новое понимание истории наложило отпечаток и на отношение Пушкина к событиям 14 декабря: «Не будем ни суеверны, ни односторонни — как французские трагики; но взглянем на трагедию взглядом Шекспира» (Дельвигу, фев. 1826). Вместо заламывания рук и рвения волос, трезвые слова нового короля: “Inter their bodies as becomes their births: Proclaim a pardon to the soldiers fled” (*Richard III*). «Еще таки я надеюсь на коронацию: повешенные повешены; но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна», пишет он Вяземскому (14 авг. 1826).

Надеясь, что следствие над декабристами убедило правительство в непричастности поэта к делу мятежников, Пушкин обратился в мае 1826 г. к новому императору с просьбой о прекращении ссылки, и 8 сентября состоялась известная встреча в Чудовом дворце. Николай I назвал Пушкина «умнейшим человеком России», а поэт подтвердил царю свое письменное обещание «не противуречить общепринятому порядку» (Николаю, 11 мая 1826).¹¹

Не подозревая пока, в какую западню он попал, освобожденный от ссылки и цензуры поэт искренне попытался пойти навстречу своему освободителю. Вспомним, что во время следствия император сумел обворожить даже некоторых декабристов: «Зачем вам революция? Я сам вам революция: я сам сделаю все, чего вы стремитесь достигнуть революцией».¹² Ради справедливости надо сказать, что, взойдя на престол, Николай I создал не только III отделение, но и оправдал ряд либеральных надежд. Вот некоторые результаты этой «революции сверху»: новый император отстранил «всей России притеснителя» Аракчеева, удалил «полуфанатика, полуплута» архимандрита Фотия, приблизил к себе опального Сперанского для проведения реформы законов. Чтобы поддержать восставших греков, православный царь объявил войну Турции, за

что Гейне назвал его «рыцарем Европы». ¹³ (Сам Пушкин пытался в 1828 г. определиться в армию, но ему было отказано.)

Тем не менее, расправа над пятью декабристами остается темным пятном на совести Николая I, несмотря даже на то, что для 120 мятежников он заменил казнь каторгой, а через год освободил их от работы в рудниках, перевел в особо построенный Петровский завод, и разрешил женам поселиться в камерах мужей. В замене четвертования постыдной виселицей утешения мало, но не стоит забывать, что Николай I денежно помогал вдове, дочери и даже внукам казненного Рылеева.

Нет ничего удивительного, что в «Стансах», написанных в 1826 г. по поводу коронации и опубликованных в 1828 г., Пушкин вполне искренне обращается к Николаю «в надежде славы и добра» и призывает нового императора следовать примеру Петра I в твердости и великодушии к врагам. Это, конечно, призыв к милости к сосланным декабристам, которых Пушкин не очень лестно сравнивает с мятежными стрельцами. В стихотворении о подвиге Наполеона «Герой» (1830), написанном в Болдине в октябре и анонимно напечатанном в *Телескопе* в 1831 г., Пушкин через ложную дату и место — «29 сентября 1830, Москва» — отдает честь мужеству и милосердию императора Николая I. Подобно Наполеону, пожимавшему руки своим зачумленным воинам в лазарете в Яффе, Николай в этот день вернулся в зараженную холерой Москву, чтобы помогать в борьбе с эпидемией.

«Стансы» пришлось не всем по вкусу. Москва, только что бурно встретившая Пушкина, увидела в *pas-de-deux* поэта с царем только *faux pas*, недостойное певца «Вольности». За попытки заключить союз «меча и лиры», «империи и свободы» поэт дорого заплатил: «Не приобретя двора, Пушкин потерял и либеральную часть публики». ¹⁴ Эта незаслуженная репутация преследовала Пушкина и в следующем поколении русской критики: «Разительный пример — Пушкин, которому стоило написать только два-три верноподданических стихотворения и надеть камер-юнкерскую ливрею, чтобы вдруг лишиться народной любви», — писал Белинский. ¹⁵

В стихотворении «Друзьям» (1828) Пушкин был вынужден встать на защиту от обвинений в подхалимстве или даже наущничестве:

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.

Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами,
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами.

Личный цензор поэта проявил на этот раз больше вкуса, чем сам поэт — Николай I распорядился: “Cela peut courir, mais pas être imprimé”.¹⁶ Несмотря на сомнительное художественное достоинство стихотворения, в нем с отменной простосердечностью высказана заветная мечта поэта о союзе двух богопомазаных существ:

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.

Насколько реалистичны были эти чаяния? Пушкин был убежден, что творчество Тасса, Ариоста, Шекспира, Мольера и Вольтера только выиграло от покровительства правителей.¹⁷ В русской истории, как известно, на каждое царство приходилось по Поэту, и некоторым из них было дозволено играть роль Платона при короле. У Екатерины I был Тредьяковский, у Анны — Ломоносов, у Елизаветы — Сумароков, у Екатерины II — Петров и Державин, у Александра I — Карамзин. Почему бы не Николай I и Пушкин?

После возвращения из ссылки Пушкин не раз пытался поправить свою «подмоченную» репутацию и был готов пойти навстречу царю. Нет сомнения, что призрак пятерых повешенных Николаем преследовал Пушкина, но его также страшила судьба поэта Шенье, приветствовавшего в 1789 революцию, а затем обвинившего якобинцев в отступничестве от ее идеалов, и казненного революционным трибуналом за приверженность к своему королю («Андрей Шенье», 1825). Такой урок истории приводит к окончательному отказу от абсолютов молодости, восславляющих «Свободу вообще» и «Равенства вообще». Как справедливо замечает

Е. Эткинд, Французская революция представляется теперь Пушкину, как трагедия отвлеченных понятий, «союз ума и фурий» («К вельможе», 1830).

[С]лекуляции абстрагирующего ума, свойственные философским трудам просветителей, привели в конце концов к бушеванию кровавых инстинктов, к игнорированию Закона, необходимой основы государства и общества, во имя Свободы, ложно понятой как абсолютное благо («Свободой грозною поверженный закон»)¹⁸.

Подобные опасения оставили свой отпечаток и на отношении Пушкина к декабристам и их делу.

* * *

Хорошо известно, что Пушкин не раз старался озарить заточение сосланных друзей-декабристов «лучем лицейских ясных дней». В 1827 г. он обратился к ним в «Послании в Сибирь» — прямо, а в «Арионе» — косвенно. В первом стихотворении лицеисты Пущин и Кюхельбекер должны были расслышать (даже «во глубине сибирских руд») эхо лицейской «Прощальной песни» (1817), сочиненной Дельвигом и исполненной ими хором на музыку Теппера в присутствии Александра I во время выпускного акта.¹⁹ Дружеское напоминание о светлом лицейском прошлом осталось непонятым остальными декабристами, услышавшими в «Послании» лишь боевой клич:

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья *меч* вам отдадут.

Приподнятый стиль послания в самом деле напоминал гражданскую риторику самих декабристов. Кн. Одоевский, как известно, ответил Пушкину в таком-же воинственном духе:

Мечи скуем мы из цепей
И пламя вновь зажжем свободы,
Она нагрянет на царей,
И радостно вздохнут народы.

Послание Пушкина и ответ Одоевского прочно вошли в фольклор революции. Ленин, как известно, взял строку князя-Рюриковича эпиграфом для *Искры*.

Но вопреки общепринятому толкованию «Послания», Пушкин призывал не столько к революционной борьбе, сколько к «гордому терпению». Что же касается «меча», согласно военному уставу при аресте у офицера отнимали шпагу, а в обряде «гражданской казни» преломляли надпиленную шпагу над головой осужденного в знак утраты гражданских и сословных прав.²⁰ «Отдача» меча, таким образом, могла обозначать амнистию и восстановление декабриста в правах дворянина и офицера,²¹ а по справедливому замечанию Непомнящего, «отдать может только тот, кто взял или отобрал».²² Оказался прав Пушкин, а не Одоевский. Не борьба, а только «гордое терпение» привело к желанному результату: «Тяжкие оковы» (кандалы) пали с арестантов в 1829 г., а свобода — для тех, кто остались в живых — пришла лишь через 30 лет, в 1856 г., уже при Александре II.²³

Второе стихотворение, «Арион», написано 16 июля 1827, в первую годовщину казни пятерых мятежников (13 июля). Но в отличие от «Послания в Сибирь», Пушкин не отправил «Арион» ссыльным декабристам, а напечатал анонимно в *Литературной газете* (№ 43, 30 июля 1830). Неоднозначность смысла и неуверенность в адресате продолжает интриговать исследователей стихотворения, которое можно толковать по-разному: 1) вне политического контекста, 2) как аллегорию декабрьского мятежа, или 3) в рамках мифа об Арионе.

1) Без учета событий 1825 года «Арион» — вариация архетипа о челне среди бури и о чудесном спасении одного из пловцов. Подобная метафора встречается не раз в греческой, римской, а позже и в романтической поэзии. Ю. Суздальский привел ряд иностранных и российских подтекстов и выделил из них 14-ю оду Горация, “O navis, referent in mare te novi...” (кн. 1) как источник «Ариона».²⁴ Американский ученый Walter Vickery добавил к этому списку 5-ю оду Горация “Quis multa gracilis te puer in rosa...” (кн. 1), которую в свое время перевел на русский дядя Пушкина Василий Львович. Заключительные ее строки: «От гибели спасенный, / Богам коварных волн / Я ризу омоченну / В восторге посвятил» предвосхищают концовку «Ариона».²⁵ Стихотворение Жуковского «Пловец» (1812), о челне «без кормила и весла» и о

Провидении, спасшем пловца, можно считать подстрочником поэтических вариаций на эту тему. Жуковский использовал метафору утопающего и достигшего берега пловца в письме к сосланному Пушкину задолго до событий 1825 г.:

На все, что с тобою случилось, и что ты сам на себя навлек, у меня один ответ: ПОЭЗИЯ. Ты имеешь не дарование, а гений... Ты рожден быть великим поэтом; будь же этого достоин. В этой фразе вся твоя мораль, все твое возможное счастье и все вознаграждения. Обстоятельства жизни, счастливые или несчастливые, шелуха. Ты скажешь, что я проповедую с спокойного берега *утопающему*. Нет! я стою на пустом берегу, вижу в волнах силача и знаю, что он *не утонет*, если употребит свою силу, и только показываю ему *лучший берег*, к которому он непременно доплывет, если захочет сам. *Плыви, силач* (Ноябрь 1824).²⁶

В контексте этого письма «Арион» — гимн, посвященный чудотворной власти искусства, спасшей поэта. Тема поэта, претерпевшего крушение и поющего «прежние гимны», перекликается и с неожиданным событием в жизни ссыльного Пушкина. 28 декабря 1825, через две недели после восстания на Сенатской площади, выходит из типографии первый сборник поэта «Стихотворения Александра Пушкина» (на титульном листе — 1826 г.).

2) Однако, согласно более устойчивой трактовке, «Арион» — аллегория подавленного восстания декабристов, своеобразный «метафорический протокол того, что произошло с друзьями поэта и с ним самим». ²⁷ Поэт здесь является одним из мятежников, и после крушения продолжает общее дело товарищей («Я гимны прежние пою»). Исследователи даже спорили о том, кого подразумевал Пушкин в образе «умного кормщика» — Пестеля или Рылеева.

Если предположить, что адресатом «Ариона» являются те же друзья-декабристы, что и в «Послании в Сибирь», то между этими стихотворениями можно обнаружить несколько дополнительных и не сразу очевидных параллелей. Подобно «Посланию в Сибирь», содержащему так же и частное послание друзьям-лицеистам (цитаты из «Прощальной песни» Дельвига), в «Арионе» запряты «цитаты» из общего прошлого лицеистов, не предназначенных для остальных декабристов. Образ челна и спасение пловца мог напомнить Пушкину и Кюхельбекеру о попытке Кюхельбекера утопиться в пруду Александровского парка в 1817 г. Карикатура



*Lyceum professors rescuing Kiukhel'beker.
A drawing by Illichevski. (PD, f. 244, op. 25, No. 152, l. 82)*

Илличевского, изображающая челн, спасающий тонущего Кюхлю лицейскими педагогами, появилась в рукописном журнале «Лицейский мудрец».²⁸ В свою очередь, легенда об Арионе могла напомнить Кюхельбекеру и эпизод из его собственного послания «К Пушкину» (1822), в котором «[Он] в ночь безмолвен и уныл, / С убийцей-гондольером плыл». Кюхельбекер снабдил эти строки примечанием: «Отправляясь из Виллафранки в Ниццу морем, в глухую ночь, я подвергся было опасности быть брошенным в воды».²⁹

Но в отличие от «Послания в Сибирь», в «Арионе» подлежат сомнению как адресат, так и сам смысл стихотворения. Как правило, все пушкинские послания декабристам — «Мой первый друг...» (1826), «Бог помочь вам, друзья мои» (1827), «Послание в Сибирь» (1827) — доходили до адресата в далеком и глубоком Забайкалье (см. ПСС 3: 1132, 1151, 1137; ПДВс 2: 283). Если «Арион» в самом деле предназначался им, Пушкин и в этот раз нашел бы способ доставить стихотворение по адресу. Но он этого не сделал и напечатал «Арион» анонимно в *Литературной газете*. Несмотря на то, что декабристы регулярно следили за столичной прессой, никто из них не догадался, что «Арион» обращен к ним и

никто не заподозрил в авторстве Пушкина. Пущин узнал о стихотворении «Арион» — назвав его ошибочно «Челн» — лишь в 1855 году.³⁰ Любопытно и то, что сам Пушкин ни разу не включил «Арион» ни в одно свое прижизненное издание; стихотворение появилось впервые под его именем лишь 30 лет после кончины поэта. Зачем понадобилась такая осторожность? Если «Арион» действительно был обращен к декабристам, почему Пушкин не отправил его в Сибирь и три года медлил с напечатанием? И почему, напечатав «Арион» анонимно, Пушкин исключил его из своего поэтического наследия? Может быть, ответ кроется в амбивалентности самой мифологической основы стихотворения.

3) Общепринято считать, что Пушкин избрал мифологическое название «Арион», дабы скрыть от цензуры декабристскую «подкладку» стихотворения. В самом деле, мотив «таинственного певца, поющего пловцам» напоминает скорее миф об Орфее и аргонавтах, которые «под кифару Орфееву веслами били / По ненасытного моря равнине», нежели миф об Арионе.³¹ Но поскольку Пушкин назвал свое стихотворение «Арион», этот текст как и его биографический контекст следует пропустить сквозь призму классической легенды об Арионе, даже если такое преломление приведет к весьма неожиданному результату.

Согласно известной легенде, Арион был любимым певцом коринфского тирана Периандра (ок. 600 г. до Р.Х.). Возвращаясь однажды на корабле домой, Арион вез с собой драгоценные дары, выигранные им в музыкальных соревнованиях в Италии и Сицилии. Во время плавания кормщик с пловцами сговорились ограбить певца и бросить его в воду. Арион выпросил разрешение пропеть в последний раз и, надев венец и ризу поэта, заиграл на лире. Не закончив гимн, Арион прыгнул в воду, но был спасен дельфином, который подплыл на звуки пленительной музыки и доставил Ариона на сушу. В Коринфе Арион донес на грабителей Периандру, но царь, не поверив поэту, посадил его под стражу. Когда причалил корабль и преступники были обличены, царь освободил поэта. У легенды несколько концовок. Согласно одной, Периандр казнил пловцов; согласно другой, Арион умолил тирана помиловать преступников, и тот сослал их в далекую варварскую страну, а лира Ариона и дельфин превратились в созвездия.³²

Если исходить в толковании «Ариона» из сюжета легенды, то отношения между пушкинскими пловцами и певцом получаются

более натянутыми, чем принято считать. Легенда об Арионе была слишком хорошо известна, чтобы обойти тот факт, что пловцы все-таки ограбили и чуть не погубили «таинственного певца». Несмотря на то, что он считает себя причастным к общему делу, («Нас было много на челне... *Наши* кормщик умный...»), сам певец не принимает в нем прямого участия. Строки «А я — беспечной веры полн, / Пловцам я пел...» отделяет певца от кормщика, гребцов, и напрягающих парус. В одном из черновых вариантов Пушкин даже попытался переложить стихотворение в третье лицо: «Их было много на челне... А он — беспечной веры полн — / Пловцам он пел...» (ПСС 3: 594).

Такое распределение труда более похоже на истинное положение самого Пушкина среди декабристов. Хорошо известно, что в свое время поэт хотел вступить в тайное общество, но не был принят, так и оставшись на периферии революционного движения. В зашифрованном фрагменте сожженной 10-ой главы *Евгения Онегина* (1830) Пушкин подобным образом отмежевывается от заговорщиков: «Тут Луний дерзко предлагал, свои решительные меры, меланхолический Якушкин обнажал царевбийственный кинжал, хромой Тургенев предвидел в сей толпе дворян освободителей крестьян, там Пестель набирал для тиранов рать, а Муравьев минуты вспышки торопил» — в то время как поэт Пушкин им «читал свои нозли» (строфы 15-16). Декабрист В. Л. Давыдов вспоминал в 1837 г. в Сибири свои слова Пушкину: «Мы тебя не примем в свое общество, но *ты будешь нам петь*». ³³ Пушкин, как известно, пользовался сомнительной репутацией среди многих южан-декабристов. И. Горбачевский, лично Пушкина не знавший, утверждал, что им «от Верховной думы было даже запрещено знакомиться с поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным», который «по своему характеру и малодушию, по своей развратной жизни сделает донос тотчас правительству о существовании Тайного общества». ³⁴

Не представляет большого труда подобрать примеры напряженных или просто иронических моментов в отношении Пушкина к декабристам. Вспомним, что первая дуэль в жизни Пушкина была именно с Кюхельбекером. В 1819 г. Кюхельбекер вызвал Пушкина на дуэль за эпиграмму, в которой последний, «объевшись за ужином», чувствует себя «и *кюхельбекерно* и тошно». Неуклюжий Кюхля промахнулся и прострелил фуражку на голове своего секунданта Дельвига, а Пушкин, сказав, «ты стоишь дружбы;... по-

роху не стоишь» — отказался стрелять.³⁵ Возможно, что в 1820 году Пушкин стрелялся также с Рылеевым за распространение слухов, что Пушкина якобы высекли в подвалах Тайной канцелярии. «Жалею очень, что его не застрелил, когда имел тому случай,» — писал он шутя А. А. Бестужеву (24 марта 1925).³⁶ Пушкин не скрывал, что *Думы* Рылеева «дрянь» и утверждал, что «название сие происходит от немецкого dumme [глупо]» (Вяземскому и брату, 25 мая 1825). Пушкин также защищал от нападков Рылеева свое «600-летнее дворянство» и идею царского покровительства поэтам (Рылееву, июль-август, 1825).³⁷

Подобно другим лицеистам, Пушкин относился к Кюхельбекеру с иронией, хотя и всегда любил его. Налет этой иронии останется и после трагедии 1825 г. Как известно, Рылеев принял восторженного и политически наивного Кюхельбекера в Северный союз всего за три дня до восстания, и за покушение на вел. кн. Михаила Павловича Кюхельбекер едва не оказался шестым повешенным. Кюхельбекер был учителем Льва Пушкина, который случился в день восстания на Сенатской площади. Кюхельбекер попытался тут же завербовать своего ученика в ряды мятежников, вручив ему в виде оружия украденный жандармский палаш. Под впечатлением веселых рассказов брата Левы Пушкин рисует карикатуру: Кюхельбекер и Рылеев на Сенатской площади. Кюхельбекер во фраке и цилиндре, с длинным пистолетом в одной



*Kiukhel'beker and Ryleev on the Senate Square on Dec. 14, 1825.
Pushkin's drawing. (VMP KP-22327/A-434).*

руке и жандармским палашом в другой, как марионеточный дуэлянт целится в невидимую мишень, а за его спиной, в полном бездействии стоит Рылеев в старинной фризовой шинели с откидными воротниками и растерянно наблюдает за донкихотским поединком Кюхли.³⁸ Хотя Пушкин и подтрунивал над Кюхельбекером, он всегда любил его. Пушкин посвятил ему свое первое печатное произведение «К другу стихотворцу» (1814), а в 1827 г., неожиданно и в последний раз, обнял его на станции Залазы, когда Кюхельбекера перевозили в Динабургскую крепость. Пушкин не изменил этой дружбе: в 1830 годы ему удалось напечатать несколько произведений Кюхельбекера, а в 1834 г., в день своего рождения, Пушкин ходатайствует о разрешении переслать Кюхельбекеру с курьером Третьего отделения свои сочинения в Сибирь.³⁹ Однако вернемся к «Ариону».

Да, Пушкин мог относиться к некоторым декабристам и их делу с иронией, и его отношения с Николаем I («Теперь ты мой Пушкин») могли напоминать отношения Ариона с Периандром (оба поэта призывали к монаршей милости к падшим). Тем не менее, вчитываясь, без натяжки, в «Арионе» мотив ограбления и покушения на жизнь поэта остается рискованной задачей. Большинство исследователей поэты отвергает смысловую связь между стихотворением и легендой. Однако, я не последую их примеру, а, исходя из того, что Пушкину было свойственно бережное обращение с мифологическими сюжетами, постараюсь прочесть «Арион» в соответствии с сюжетом классической легенды.⁴⁰

Следствие по делу декабристов должно было убедить Пушкина, что мятежники не всегда честно и бескорыстно пользовались гимнами «таинственного певца». Все возмутительные рукописи ходили под моим именем», — жалуется Пушкин Вяземскому (10 июля 1826), а иные появлялись под апокрифическими заглавиями и в искаленном виде. Строка из «Вольности»: «И рабство падшее по манию царя» превратилось в пиратской версии в крамольный клич: «И рабство падшее и падшего царя». Стихотворение «Кинжал» читалось в обществе Соединенных славян, как клятва готовности к цареубийству.⁴¹ Вспомним также, что в 1820 году перед допросом у военного губернатора Милорадовича — который станет жертвой Каховского 14 декабря — Пушкин сжег свои «контрабандные стихи», но тут же записал их по памяти в тетрадь Милорадовича. “Ah, c’est chevaleresque”, — оценил граф

рыцарский жест и на месте простил поэта от имени царя. Благодаря, в большой мере, заступничеству Милорадовича, Александр I не сослал поэта в Сибирь как мятежника, но откомандировал коллежского секретаря Пушкина на юг с годичным жалованием в 700 рублей и 1000 рублями на проезд. Необычное усердие Пушкина в канцелярии военного губернатора можно объяснить и желанием избежать будущих недоразумений по поводу авторства крамольных виршей. В «Воображаемом разговоре с Александром I» (1824) Пушкин жалуется, что «всякое сочинение противузаконное приписывают мне так, как всякие остроумные вымыслы князю Цицианову» (ПСС 11: 23).

Злоупотребление стихами Пушкина продолжалось и после возвращения из ссылки. Элегия о Французской революции «Андрей Шень» (1825) была написана и разрешена цензурой с изъятием 44 строк еще до восстания. Изъятые строки — среди которых находились такие как «Где вольность и закон? Над нами / Единый властвует топор. / Мы свергнули царей. Убийцу с палачами / Избрали мы в цари. О ужас! о позор!» — ходили по рукам с апокрифическим заглавием «На 14 декабря». Библейский «Пророк» (1826), основанный на книге пророка Исаи (6: 1-13), распространялся с поддельной строфой, вызывающей призраки повешенных декабристов:

Восстань, восстань, пророк России,
Позорной ризой облекись
И с вервьем вокруг смиренной выи
К царю российскому явись! (курсив мой — С.Д.)⁴²

Пушкин ясно осознавал, как легко его стихи поощряли дело, которому он сам давно уже не сочувствовал. «Ничуть не забавно мне попасть в крепость *roug des chansons*», жаловался он брату (декабрь, 1824). Вполне естественно, что, особенно после 14 декабря, Пушкин хотел провести более отчетливо черту между собой и мятежниками. Даже в самый разгар радикализма Пушкин призывал лишь к уничтожению «порока на троне», а не самого трона; к тираноубийству, а не к убийству царской семьи, включая детей, как намеревались более крайние из декабристов.

Вскоре после аудиенции с царем (сентябрь 1826), Пушкин начертал на рукописи пятой главы *Евгения Онегина* известный рисунок пяти повешенных и приписал «И я бы мог, как [шут



*Drawings on the manuscript of Evgeni Onegin, Ch. 5.
After July 13, 1826. (PD No. 836, 1. 37)*

ви<сеть>]...»⁴³ Призрак виселицы и незаконченный стих, в котором Пушкин зачеркнул слова «шут ви...», — зловещее напоминание о том, чего он избежал. Эта загадочная фраза также перекликается со строками из ирои-комической поэмы В. Майкова «Елисей или раздраженный Вакх», в которых Зевс грозит одному из богов-мятежников: «А попросту сказать, ...повешу вверх ногами, / И будет он висеть, как шут, между богами» («Песня 2». 409-10).⁴⁴ Слыть «шутлом» было самым унижительным оскорблением для Пушкина, который однажды в дневнике записал вслед Ломоносову: «Я могу быть подданным, даже рабом, — но холопом и шутлом не буду и у Царя Небесного» (10 мая 1834).

В 1790 году Радищев использовал в «Вольности» образ морской бури для описания триумфальной революции:

Внезапно *вихри восшумели,*
Прервав спокойство *тихих вод,*
Свободы гласы так взгремели,
На вече весь течет народ,
Престол чугунный разрушает.
(Строфа 25; курсив мой — С.Д.)

В «Арионе» Пушкин применил эту же метафору к подавленному восстанию: «Вдруг *лоно волн / Измял с налету вихорь шумный*». В конце «Ариона» нельзя не услышать вздох облегчения, что поэт «остался цел и невредим в общую бурю» (слова Вяземского, 12 июня 1826, ПСС 13: 285) и избежал судьбы пловцов. В первоначальном варианте было прямо сказано: «Гимн избавления пою». Похожий вздох можно услышать и в «Акафисте Е. Н. Карамзиной» (1827): «Земли достигнув, наконец, / От бурь спасенный провиденьем».

Когда Пушкин писал «Арион», он отдавал себе полный отчет в том, что его счастливой фортуной управляла та же рука, что так неумело, но неумолимо затянула петли на шее декабристов. В октябре 1827 г. агент передает Бенкендорфу следующие слова, сказанные Пушкиным во время литературного обеда: «Меня должно прозвать или Николаевым, или Николаевичем, ибо без него я бы не жил. Он дал мне жизнь и, что гораздо более, — свободу: виват!»⁴⁵

В этом контексте следует напомнить и об оде «Арион» Экушара Лебрена (1811), восхваляющей Периандра как мудреца и покровителя искусств:

...
Jeune Arion, bannis la crainte,
Aborde aux rives de Corinthe;
Périandre est digne de toi.
Minerve aime ce doux rivage;
Et tes yeux y verront un sage
Assis sur le trône d'un roi.

(Юный Арион, изгони свою робость; / Причалъ к берегам Коринфа: / Периандр достоин тебя. / Минерва любит этот тихий берег; / Там глаза твои узрят мудреца, / Восседающего на королевском престоле).

Согласно *Запискам А. О. Смирновой*, часто недостоверно записанным ее дочерью, Пушкин цитировал во время разговора о декабристах с А. О. Смирновой этот фрагмент из «Ариона» Лебрена и якобы провел параллель между Периандром и Николаем I.⁴⁶ Судя по письму брату (1-10 нояб. 1824), в котором Пушкин просил прислать ему оды и элегии Лебрена, нет сомнения, что поэт знал эти произведения. Но, согласно Глебову и Томашевскому, ода Лебрена, восхваляющая тирана, не имеет ничего общего с пушкинским «Арионом».⁴⁷ В отличие от классической легенды и от оды Лебрена, Пушкин исключил из своего стихотворения строку «Спасен Дельфином, я пою» и оставил избавление «таинственного певца» немотивированным. Таким образом, поэт избавил нас от искушения приписать Государю всея Руси роль дельфина, несмотря даже на то обстоятельство, что слово “dauphin” обозначает по-французски не только дельфина, но и наследника престола. Куда пристойнее утверждать, что Пушкина спас от злой участи перебежавший через дорогу заяц.⁴⁸

Итак, в стихотворении «Арион», отмечающем первую годовщину казни декабристов, пересекается несколько противоборствующих тенденций. «Певец» у Пушкина действительно «таинственный» — в начале стихотворения он Орфей, а в конце — Арион. Заглавие «Арион» могло, конечно, обмануть цензора, укрыв под мифологическим завесом гимн в честь декабристов, но классическая легенда о чудесном спасении поэта от покушения пловцов, частично подрывает такое прочтение. Через сюжет легенды в стихотворение проникает упрек пловцам, который высказать открыто было просто немислимо. Автограф «Ариона» усиливает впечатление, что Пушкин с самого начала ощущал неловкость по поводу этого названия. Первоначальное название «Орион» он заменил на «Арион» и прибавил строку «Спасен Дельфином я пою». «Дельфина» Пушкин затем убрал, но «Арион» остался (*ПСС* 3: 593). В двух списках, составленных в 1831 г. для сборника своих стихотворений, Пушкин обозначил «Арион» не заглавием, а первой строкой «Нас было много...», но так и не поместил ни в одно издание.⁴⁹ Поз-

же Пушкин снова пытается затушевать значимость названия «Арион». Предлагая в 1835 г. Плетневу название для нового альманаха, Пушкин пишет: «назовем его «Арион» или «Орион»; я люблю имена, не имеющие смысла; шуточками привязаться не к чему» (11 окт., 1835). Что же из этого можно заключить? Напечатав стихотворение анонимно, а затем исключив его из своего печатного наследия, Пушкин, по-моему, избежал недоразумений со стороны декабристов, прекрасно знавших сюжет легенды. Одновременно, назвав стихотворение — «Арион», Пушкин избежал недоразумения и со стороны их тюремщика, который мог заподозрить поэта в симпатии к мятежникам. Самое главное — Пушкин по своему обычаю не пожелал снять это противоречие между гимном и упреком. «Таинственный певец» остается и Орфеем, поющим гребцам-аргонавтам (гимн), и Арионом, чуть было не погибшим от руки пловцов (упрек), а сам Пушкин — честным человеком, призывавшим к царской «милости к падшим».

* * *

Как бы то ни было, к 1830 году, когда Пушкин заканчивал *Евгения Онегина*, идеалы декабристов уже давно не кружили голову поэту. Вот что Пушкин не предал огню и не потрудился зашифровать — возможно в доказательство своей политической благонадежности — из 10-ой главы романа:

Сначала эти заговоры
Между Лафитом и Клико
Лишь были дружеские споры,
И не входила глубоко
В сердца мятежная наука,
Все это было только скука,
Безделье молодых умов...
Забавы взрослых шалунов, (*EO XVII*)

Несмотря на иронический тон этих строк, несправедливо было бы говорить об отступничестве поэта от друзей или о малодушии перед властями. Во время аудиенции с Николаем I Пушкин смело заявил: «Непременно, государь, все друзья мои были в заговоре, и я не мог бы не участвовать в нем». В своем ответе Пушкин показал

больше мужества, чем избранный «Диктатор восстания» кн. Трубецкой, не явившийся на площадь. Не похож Пушкин и на героя «Медного всадника,» прошептавшего сквозь зубы «медному» императору «Ужо тебе!», и убежавшего затем в страхе с Сенатской площади. Культ дружбы стоял высоко в системе ценностей Пушкина и безоговорочная преданность друзьям была делом чести. Но разделять дружбу не значило разделять убеждения друзей. Более крайние декабристы предлагали устроить в России федеральную республику по образцу Соединенных Штатов. В 1830-е годы слово «демократия» обозначало для Пушкина в лучшем случае «антидворянский» строй, в худшем — «народовластие». Даже в самый радикальный период Пушкин выступал только за свободу для народа, но не за власть народа.

И горе, горе племенам
Где дремлет он [закон] неосторожно,
Где иль народу, иль царям
Законом властвовать возможно!
(«Вольность», 1817)

Наиболее открыто Пушкин выразил свои претензии к демократии в статьях 1836 г., предназначенных для *Современника*. Во Франции после Июльской революции: «Народ (*der Herr omnis*) властвует со всей отвратительной властью демократии» (*ПСС* 12: 66). Пушкин опасался исторического прогноза Токвиля (*De la Démocratie en Amérique*, 1835), что дальнейшее развитие в Европе неизбежно приведет к демократии. Еще более резко Пушкин обрушился на американскую демократию в статье «Джон Теннер» (1836):

С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (*comfort*); большинство, нагло притесняющее общество; рабство негров посреди образованности и свободы; родословные гонения в народе, не имеющем дворянства; со стороны избирателей алчность и зависть; со стороны управляющих робость и подобострастие; талант, из уважения к равенству, принужденный к добровольному ostracismu... (*ПСС* 12: 104).

В черновике полемического ответа Чаадаеву на его *Философические письма* Пушкин хвалит императора Николая I за то, что тот «первый воздвиг плотину (очень слабую еще) против наводнения демократией, худшей, чем в Америке (читали ли вы Токвиля?). Я еще под горячим впечатлением от его книги и совсем напуган ею» (ПСС 16:261, оригинал по-французски).

Любая революция, направленная на сословное уравнение, будь то «революция» Петра (“*Pierre I est tout à la fois Robespierre et Napoléon [La Révolution incarnée]*”), («О дворянстве», 1830, ПСС 12: 205), или народный бунт Пугачева, или демократическая революция, возглавляемая радикальным дворянством, — были неприемлемы для Пушкина, который в 1830-е годы встал на защиту собственного сословия. Как потомственный дворянин с 600-летней родословной Пушкин проводил четкую линию между древним дворянством и новой знатью. Он был озабочен жалким состоянием старинных родов, гонимых князьями московскими, преследуемых Иваном Грозным и Годуновым. При Петре их принудили покинуть крестьян, чтобы на государственной службе карабкаться по лестнице рангов вместе с плебеями из служилого дворянства. Старая знать продолжала нищать вследствие отмены майората при Анне Иоанновне и дальнейшей политики Екатерины II и ее фаворитов.

Когда Пушкин пишет «Заметки о русском дворянстве» (1830), упадок древних родов, в том числе его собственного, завершен: «Падение постепенное дворянства; что из этого следует?» спрашивает Пушкин — «Восшествие Екатерины II, 14 декабря и т.д.» (ПСС 12: 206, курсив мой — С.Д.). Пушкин воспринимал трагедию собственного сословия, как одну из причин, приведших к восстанию. «Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько ж их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много» (Дневник, 1834, ПСС 12: 335).

Пушкин считал независимое родовое дворянство единственным сословием, способным противостоять самодержавию. Но для такой независимости было необходимо восстановить политическое и экономическое состояние дворян. Пушкин верил, что в просвещенном и независимом дворянстве народ обретет «мощных защитников», способных заступиться за его интересы перед монархом. «С этих позиций, — утверждает Ю. Лотман — народ и дворянская интеллигенция (‘старинные дворяне’) выступают как

естественные союзники в борьбе за свободу. Их противник — самодержавие, опирающееся на чиновников и созданную самодержавным произволом псевдоаристократию, 'новую знать'». ⁵⁰

«Как в декабрьские свои годы Пушкин не походил на классического революционного героя, так и в николаевское время, отрекшись от революции, он не отрекался от свободы. Сама свобода лишь менялась в своем содержании», справедливо замечает Г. Федотов. ⁵¹ Поражение 14 декабря, таким образом, не было толчком, а всего лишь последним звеном в цепи постепенного разочарования поэта в радикальных мерах.

* * *

Если начало пушкинского политического пути озарял Радищев блеском своей оды «Вольность», он же сопутствует поэту и на последней версте. В 1836 г. имя Радищева было еще табу в России, но оно дважды всплывает в творчестве Пушкина — в отвергнутой строке «Памятника» («Что вслед Радищеву восславил я свободу») и в статье «Александр Радищев», предназначенной для 3-ей кн. *Современника*. Первое упоминание — это дань уважения певцу «Вольности», второе же — брань, обращенная к отцу русского радикализма. Да, в 1817 году Пушкин «восславлял вслед Радищеву свободу», но в 1836 он недоумевает, как мог «чувствительный и пылкий Радищев не содрогнуться при виде того, что происходило во Франции во время Ужаса? Мог ли он без омерзения глубокого слышать некогда любимые свои мысли, проповедаемые с высоты гильотины, при гнусных рукоплесканиях черни? (ПСС 12: 34). В 1836 г. Пушкин хотел подчеркнуть именно разницу между собой и Радищевым:

Время изменяет человека как в физическом, так и в духовном отношении. Муж, со вздохом или с улыбкою, отвергает мечты, волновавшие юношу. Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют. (ПСС 12: 34).

В последнее лето жизни Пушкин требует иной, умиротворенной, но не менее гордой свободы, в которой можно совместить и «волю и покой»:

Иные, лучшие, мне дороги права;
Иная, лучшая, потребна мне Свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними.

Никому

Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь Божественным природы красотам,
И пред созданьями Искусств и Вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
Вот счастье! вот права...

(«Из Пиндемонти,» 1836)

Бордо сменило Аи.

Примечания

¹ Д. И. Писарев, *Сочинения*, 3 (М.: Госполитиздат, 1956), стр. 415.

² *ПвВС 1: 144* — *Пушкин в воспоминаниях современников*, 1, ред. В. Э. Вацуро и др. (М.: Худ. лит., 1974), стр. 144.

³ “Le glaive arma ton bras, fille grande et sublime, / Pour faire honte aux Dieux pour réparer leur crime”, см. Е. Эткин, «Союз ума и фурий (Пушкинские мятежники)», *Russia*, no. 5 (1987), стр. 75.

⁴ В. Вересаев, *Пушкин в жизни*, 1, 2-е изд. (М.: Сов. пис., 1936), стр. 100.

⁵ *ПвВС 1: 134*.

⁶ *ПвВС 1: 98*.

⁷ *ПвВС 1: 103*.

⁸ М. А. Цявловский, *Статьи о Пушкине* (М.: Ак. наук, 1962), стр. 367.

⁹ Из письма А. И. Тургеневу, *Пушкин в прижизненной критике 1820-1827*, ред. В. Э. Вацуро, С. А. Фомичев (СПБ: ПКРАН, 1996), стр. 379.

¹⁰ Об аналогичном отношении к «народу» Шенье и Пушкина см. Эткин, *Союз ума и фурий*, стр. 72-75.

¹¹ См. реконструкцию этой встречи у Н. Я. Эйдельмана, *Пушкин: Из биографии и творчества 1826-37* (М.: Худ. лит., 1987), стр. 24-64.

¹² См., Д. Д. Благой, *Творческий путь Пушкина (1826-1830)* (М.: Сов. пис., 1967), стр. 45.

¹³ Там же, стр. 32-38.

¹⁴ П. Миллюков, *Живой Пушкин*, 2-е изд. (Париж, 1937), стр. 121.

¹⁵ В. Г. Белинский, «Письмо к Гоголю» (1848), *Статьи о классиках* (М.: Худ. лит. 1970), стр. 423.

¹⁶ Б. М. Томашевский, *Пушкин*, 2 (М.-Л.: Ак. наук, 1961), стр. 253.

¹⁷ См. письмо А. Бестужеву, май-июнь 1825.

¹⁸ Эткинд, стр. 77.

¹⁹ «Храните, о друзья, храните / Ту ж дружбу с тою же душой, / То ж к славе сильное стремленье, / То ж правде — да, неправде — нет, / В несчастье гордое терпенье, / И в счастье — всем равно привет!» (курсив мой — С.Д.). См. *ПВВС* 1: 95 и *Летопись*: 133. В декабре 1826-январе 1827 г., когда Пушкин писал «Послание в Сибирь», он не знал, что Кюхельбекера еще в Сибири не было.

²⁰ *Писатели-декабристы в воспоминаниях современников*, 1-2, ред. Я. Л. Левкович и др. (М.: Худ. лит., 1980), т. 1, стр. 264, 267, 271; т. 2, стр. 402.

²¹ Н. О. Лернер, «Примечания к стихотворениям 1826-28 гг.», *Пушкин*, т. 4, стр. 23, ред. С. А. Венгеров, в 6 тт. (СПб.: Брокгаус-Эфрон, 1907-15); Н. Пиксанов, «Дворянская реакция на декабризм» (1825-27)», *Звенья*, 2, (М.-Л.: Academia: 1933), стр. 148.

²² В. Непомнящий, «Судьба одного стихотворения», *Вопросы литературы*, 1984, 6, стр. 168.

²³ См. Благой, стр. 146.

²⁴ Ю. П. Суздальский, «‘Арион’ Пушкина», *Литература и мифология*, ред. А. Л. Григорьев (Л., 1975), стр. 16.

²⁵ W. Vickery, “‘Arion’: An Example of Post-Decembrist Semantics,” *Alexander Puškin: A Symposium on the 175th Anniversary of His Birth*, eds., A. Kodjak and K. Taranovsky. (New York: N.Y. Univ. Press, 1976), p. 79.

²⁶ ПСС 13: 120; курсив мой — С.Д.

²⁷ Благой, стр. 158.

²⁸ Карикатура воспроизведена у К. Я. Грота, *Пушкинский лицей (1811-1817)* (С.-Пб., 1911), стр. 291; оригинал — ПД, ф. 244, ор. 25, № 152, л. 82. О спасении Кюхельбекера, см. *Летопись*, стр. 128.

²⁹ *Поэты-декабристы* (М.: Худ. лит., 1986), стр. 132. Аналогичный «Ариону» образ челна употребил Кюхельбекер в стихотворении «На смерть Якубовича» (1846): «Ты отстрадался, вышел ты на берег; / А реет все еще среди черных волн / Мой бедный, утлый, разнащенный челн!», Там же, стр. 158.

³⁰ И. И. Пущин, *Записки о Пушкине, Письма* (М., Худ. лит., 1988); стр. 301; Н. Я. Эйфельман, *Пушкин и декабристы* (М.: Худ. лит., 1979), стр. 201; В. В. Пугачев, «Из эволюции мировоззрения Пушкина конца 1820-х-начала 1830-х годов», *Проблемы истории, взаимосвязей русской и мировой культуры* (Саратов: Изд. Сарат. ун., 1983), стр. 52-53; И. В. Немировский, «Декабрист или сервист? (Биографический контекст стихотворения ‘Арион’)», *Легенды и мифы о Пушкине* (Петербург: Ак. проект, 1994), стр. 170.

³¹ Аполлоний Родосский, *Аргонавтика* 1, 530-41, перевод Т. Ф. Церетели (Тбилиси, 1964).

³² См. Геродот I, 23-24; Овидий, *Fasti* II, 83-118; Плутарх, sept. sap. conul. 160 E. foll.; Aelian, N.A.. XII, 45; и др. Легенда об Арионе находилась в библиотеке Пушкина в предании Геродота по-французски (No. 981), и в предании Овидия по-французски и в оригинале (No. 1232-1233). Легенда об «Арионе» вошла в антологию «Цветы греческой поэзии», составленную лицейским преподавателем Кошанским. Подробный пересказ легенды появился и в любимом Пушкиным альманахе *Северная лира* на 1827 г. Пушкин мог знать и вирши Симеона Полоцкого: «Пльви в Россию по морской пучине, / Арион славный, хотя на дельфине...» Пушкин был также знаком с одой «Арион» Экушара Лебрена (Г. С. Глебов, «Об 'Арионе'», *Пушкин: Временник Пушкинской комиссии*, 4 (М.-Л.: АН СССР, 1941), стр. 295-304).

³³ *ПДВС* 2: 317, курсив мой — С.Д.

³⁴ Н. Эйдельман, *Пушкин и декабристы* (М.: Худ. лит., 1970), стр. 148; Ю. М. Лотман, *Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя* (Л.: Промышленность, 1983), стр. 46.

³⁵ *Летопись*: 187.

³⁶ В январе 1820 г. Пушкин «дерется по этому поводу с кем-то неизвестным на дуэли» (*Летопись*: 197). См. так же Лотман, 1983: 47-8 и В. В. Набоков, *Eugene Onegin*, 2 (Princeton Univ. Press, 1975), стр. 433-34; и не отосланное письмо Пушкина Александру I, июль-сентябрь 1825. Только на юге в 1820 г. Пушкин узнал, что слух этот был пущен Ф. Толстым («Американцем») и готовился к дуэли с ним (*Летопись*: 313, 415). Соболевский помирил Пушкина с Толстым, и в 1829 г. Толстой был сватом Пушкина у Гончаровой.

³⁷ Обвинения Пушкина в аристократизме скоро повторит за Рылевым его товарищ по *Полярной звезде* Булгарин.

³⁸ Т. Г. Цявловская, *Рисунки Пушкина*, 4-е изд. (М.: Искусство, 1987), стр. 293-5. «Если вам рассказать все проделки Вильгельма в день происшествия и в день объявления сентенции, то вы просто погибли бы от смеху, несмотря на то, что он тогда был на сцене трагической и довольно важной... Напрасно покойник Рылеев принял Кюхельбекера в Общество...», — негодовал Пушкин (*ПДВС* 2: 284).

³⁹ Л. Фризман, *Семинарий по Пушкину* (Харьков: Энграм, 1995), стр. 98.

⁴⁰ Пушкин вольно обошелся с мифологией лишь в стихотворении «Рифма» (1830), где он придумал дочь Аполлона и Эхо и назвал ее Рифмой.

⁴¹ Эйдельман, 1987, стр. 37.

⁴² Архаизм «выя» — не характерное слово для Пушкина. Во всем творчестве он употребил его дважды (см. *Словарь Пушкина*). Тон и лексика приписываемых Пушкину строк напоминают гражданский пафос декабристов:

Горька судьба поэтов всех племен;
Тяжеле всех судьба казнит Россию:
Для славы и Рылеев был рожден;
Но юноша в свободу был влюблен...
Стянула петля дерзостную выю.
(Кюхельбекер: «Участь русских поэтов», 1845)

Лишь вспыхнет огонь во глубине сердец,
Пять жертв встают пред нами; как венец,
Вкруг выш вьется синий пламень.
Сей огонь пожжет чело их палачей,
Когда пред суд властителя царей
И палачи и жертвы станут рядом...
(Одоевский: «Недвижимы, как мертвые в гробах», 1831)
(курсив мой — С.Д.)

⁴³ См. Т. Г. Цявловская, ук. соч., стр. 179-181.

⁴⁴ М. А. Цявловский, *Рукою Пушкина* (М.-Л.: Академия, 1935), стр. 160. С. Бонди предложил «шута на веревке» как возможный источник этой фразы (там же). См. также Набоков, *Евгений Онегин* 3: 348 и Цявловская, *Рисунки Пушкина*, стр. 202-3. Образ Майкова и пушкинская оборванная фраза напоминают также карту-таро «шута», повешенного за ногу.

⁴⁵ Б. Л. Модзалевский, *Пушкин под тайным надзором* (Л., 1925), стр. 73; Благой, стр. 52, Немировский, стр. 179.

⁴⁶ *Записки А. О. Смирновой* (Из записных книжек 1826-1845 гг.), ч. 1 (СПб.: Изд. редакции журнала *Северный вестник*, 1895), стр. 176.

⁴⁷ Г. С. Глебов, «Об 'Арионе'», *Пушкин: Временник Пушкинской комиссии*, 4 (М.-Л.: АН СССР, 1941), стр. 297; Томашевский, *Пушкин и Франция* (Л.: Сов. пис., 1960), стр. 326.

⁴⁸ В первых числах декабря крепостной мужик Алексей Хохлов в сопровождении садовника Архима Курочкина направились по Михайловской дороге в Петербург. Из-за дурных примет — в том числе и перебежавшего им дорогу зайца — суеверные мужики повернули назад (Летопись: 577; И. З. Сурат, «Кто из богов мне возвратил...». *Московский пушкинист*, 2 [1996], стр. 110). Под именем Алексея Хохлова путешествовал инкогнито Пушкин, и если бы не заяц, поэт мог оказаться на квартире Рылеева в ночь с 13-го на 14-го декабря (*ПВС* 1: 153, 2:7). Насколько мне известно, заяц этот, в отличие от дельфина, не стал созвездием, и я поэтому присоединяюсь к предложению А. Битова воздвигнуть ему в Михайловском памятник (см. *Вычитание зайца* [М.: Олимп, 1933], стр. 37).

⁴⁹ *Рукою Пушкина*: 256-60.

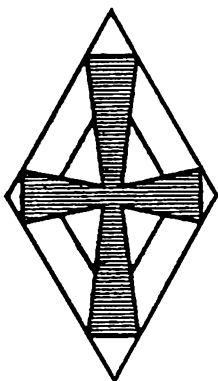
⁵⁰ Ю. М. Лотман, «Идейная структура *Капитанской дочки*», *Пушкинский сборник* (Псков, 1962), стр. 4-5.

⁵¹ Г. П. Федотов, «Певец империи и свободы» (1937), *Новый град* (Нью Йорк: Изд. им. Чехова, 1952), стр. 245.

ЗАПИСКИ

РУССКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
ГРУППЫ В США

ТОМ XXX



VOLUME XXX

TRANSACTIONS
OF THE ASSOCIATION OF RUSSIAN-
AMERICAN SCHOLARS IN THE U.S.A.

NEW YORK

1999-2000